

Людмила
УЛИЦКАЯ

Первые и последние

18+



Искренне ваша, Людмила Улицкая

Людмила Улицкая
Первые и последние (сборник)

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Улицкая Л. Е.

Первые и последние (сборник) / Л. Е. Улицкая — «Издательство АСТ», 2018 — (Искренне ваша, Людмила Улицкая)

ISBN 978-5-17-109821-6

Эти рассказы родом из русской прозы, внимательной и сочувственной к «лишним» и «маленьким» людям. Автор своей тонкой и четкой оптикой высвечивает те незначительные складки и повороты повседневной жизни, которые благодаря дарованию Улицкой становятся и резкими, и удивительными, и подчас ужасными, а чаще всего – символическими. И всегда невероятно интересными. «Первые становятся последними, а последние обладают дарами, не предназначенными для победителей, – нищий радуется тарелке супа, а богатый страдает, не зная, кому оставить завещание... И во всем этом много мудрости, иронии и пищи для размышления». Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109821-6

© Улицкая Л. Е., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Второе лицо	5
Женщины русских селений	19
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Людмила Улицкая

Первые и последние (сборник)

Второе лицо

Пирожковая тарелочка, верхняя в стопе, соскользнула и, чмокнув о спинку стула, мягко упала на ковер двумя почти равными половинками. Машура огорченно охнула. Евгений Николаевич, стоявший в дверях столовой, хмыкнул не без злорадства. Сервиз был гарднеровский, в псевдокитайском стиле, подписной, но Евгений Николаевич давно уже не жалел своего имущества, а разбитая тарелочка даже утверждала правоту его давней мысли: наследники его были в высшей степени никчемными. Даже Машура, внучка его покойной жены Эммы Григорьевны, самая симпатичная из всех, выросшая на его глазах из толстоморденького младенца в красивую девицу, была бестолкова. Прямых наследников, собственно говоря, не было – все второго, третьего порядка, седьмая вода на киселе. И все – ждали...

Стол-сороконожку Евгений Николаевич раздвинул сам, закрепил медные крючки. Женщины – и Машура, и домработница Екатерина Алексеевна, и Леночка, приехавшая из Петербурга полуродственница, часто навещавшая его после смерти Эммы, – со столом справиться не умели. Эмма из всех женщин его жизни единственная была и с головой, и с руками. Она и стол могла раздвинуть без мужской помощи, и хрусталь мыла так, как ни одна кухарка не умела... А про прием гостей, организацию любого дела – и говорить нечего. Равной ей не было...

Машура накрыла холеную столешницу простеганной фланелью, потом пленкой, а поверх положила парадную скатерть – все, как делала ее покойная бабушка. Только посуда у Эммы никогда не билась. Машура нервничала. Евгений Николаевич знал почему. Нитка жемчуга была тому причиной. Бабушкин жемчуг – на Ленкиной высокой шее...

Евгений Николаевич вздохнул – жена умерла пять лет тому назад, жестоко нарушив его жизненные планы. Ей и шестидесяти еще не было, выглядела великолепно. Элизабет Тейлор, на треть уменьшенная. Евгений Николаевич крупных женщин не любил. Сам был не особо рослым и ценил соразмерность. На что ему дылда? Прекраснейшая женщина была Эмма Григорьевна, ни в чем мужа не обманула, кроме одного: ушла раньше его. А ведь на шестнадцать лет была моложе.

Семидесятилетие свое он справлял в «Праге». Заказала Эмма банкетный зал на пятьдесят человек. Он этого и не касался, ей все можно было доверить. Стол, сервировка – отменные, без малейшего промаха. Справа от него сидела она, жена, в вечернем платье цвета перванш, с гладкой, под орех крашенной головкой, а слева – Галя, секретарша, в красном, золотоволосая. Две королевы, ничего не скажешь. И обеих он пощипывал в подстолье, под жесткой скатертью, то за ягодицу, то за ляжку, и обе сидели довольные, важные. И выдрал он их обеих в тот же вечер – заранее запланировал и меры некоторые принял. Галочку – в буфетной, при содействии знакомого официанта Алексея Васильевича, на ключик их запершего на десять минут. А Эмочку дома, по-супружески...

Восьмидесятилетие же было обставлено по-домашнему, стол накрыт на шестнадцать персон – пара нужных людей и родственники. Третьего порядка, усмехался про себя Евгений Николаевич. Он любил раз в год собирать этих племянниц, племянников, внучатых всяких. Эмочкиной родни десяток набиралось. Овощи и фрукты. Один был даже сухофрукт, вернее сказать, орешек – Женя-Арахис, подруга покойной жены, учительница музыки с растопыренными пальцами. Хитрая, как муха. После Эмочкиной смерти он подарил ей кольцо с большим желтым бриллиантом с тремя уголками и трещиной, даже не помнил, как оно в дом попало. В память о подруге. И подарок этот сбил ее с толку: прежде она мечтала выдать замуж свою

престарелую дочь, а теперь забрала себе в голову пристроиться на Эммочкино место. Пятый год ходит в гости с арахисовым тортиком и прозрачными намеками. А Евгений Николаевич, смеху ради, делает вид, что вот-вот догадается и предложение ей сделает... Старая дура трепетала, кокетничала, делала многозначительные паузы, а он, провожая ее, подавал ей в прихожей Эммочкино пальто, которое она все донашивала, а перед самой дверью слегка прижимал к себе ее узкую, покосившуюся в басовую сторону клавиатуры спину. Так что уходила она каждый раз обнадеженная. Она тоже была в числе приглашенных. Вынужденно. Потому что зови не зови, все равно притащится.

Аппетит к жизни у Евгения Николаевича, всегда преотличнейший, с годами не выветривался, только вкус поменялся. Его теперь тянуло на миниатюру. Даже в пище. Теперь вместо обыкновенной яичницы, которую, невзирая на холестериновую панику, по-прежнему съедал за завтраком, жарил себе два перепелиных яйца и пристрастился к еде ранее неведомой – ко всякому младенческому овощу, к моркови, горошку, фасоли, но все «беби», самое что ни на есть «беби». Даже капусту ел игрушечную – брюссельскую. Врачи предостерегали от молодого мяса, советовали зрелое, а он выбирал телятину, ягненка, поросенка молочного. Это была его собственная теория, по крайней мере та часть теории, которой он охотно делился с окружающими: на старости лет полезно все юное, растущее. Тот патриарх, что согревал свое старое тело о молодую плоть, – не дурак же он был.

От маленьких радостей надо получать большое удовольствие – учил он своих племянников, и чувствовал он себя прекрасно. Даже сердечная болезнь, найденная у него вскоре после войны, мало его беспокоила. Теперь сердечные болезни были у всех кругом, сердца оперировали, меняли сосуды, вставляли стимуляторы, и он полагал, что все это у него в запасе: дед прожил до ста лет, и отец тоже был отменного здоровья, но погиб от пули...

В отличие от пожилых людей, вечно сетующих на ухудшение времен, он острейшим образом ощущал именно улучшение времени, с особой чуткостью гедониста улавливал общее умножение всяческих удовольствий и радостей, которые мог себе позволить человек на исходе двадцатого века, – таких удобств, комфорта и роскоши, о которых прежде нельзя было и помыслить. И услуг самых фантастических...

Вот, например, друг его Иван (по паспорту Абдурахман) Мурадович – не то парс, не то перс, похож на индуса, родом откуда-то из Средней Азии. Хирургическая его специализация была самая интимная, по мужской части, и слава его в медицинских кругах большая, но приглушенная – никто из его пациентов не трубил особенно о лечении. Евгений Николаевич, как человек дерзкий, испробовал на себе все методики: лет двадцать тому назад сделал ему Иван Мурадович некоторую полезную машинку. Уникальную. Она очень способствовала. Потом, следуя времени, сделал небольшую операцию – опять угодил. И, конечно, препараты. Была одна такая инъекция: вколлот один кубик мутной жидкости – и два часа скачешь как тридцатилетний. Словом, все новые технологии опробовал на себе Евгений Николаевич. Последнее, недавнее вмешательство было совсем радикальное, только- только разработанное. Операция нешуточная, в два приема делали. Тонкая механика. На прошлой неделе у него была инструкторша из лаборатории Ивана Мурадовича, и все сработало замечательно. Но теперь – другое дело: пригласив питерскую Леночку, он собирался сегодня же применить впервые новинку сексуальной науки без инструкторши, на живом материале.

Лицом Ленка была не ахти, но шея – как у хорошей лошади, длинная, с изгибом, за то и жемчуг получила. И вся фигура отменная, гитара семиструнная: задница как самовар, выпуклая, талия осиная, груди же основательные, в разные стороны торчат двумя кулками... Сам же Евгений Николаевич был в молодые годы красавец – с актером Кадочниковым одно лицо. Теперь-то не помнит никто, а раньше девки на улице за ним бегали, автографы просили. Он давал: «Кадочников» – писал большими твердыми буквами на чем попало. И приключения даже случались на этой почве...

В числе приглашенных неродственников был еще Валера, Валерий Михайлович, молодой друг хозяина дома. Молодость его друзей исчислялась в шкале относительной, Валерию Михайловичу было за сорок. Был он отчасти друг, отчасти воспитанник, а отчасти и пожизненный должник. За длинную жизнь Евгения Николаевича накопилось у него много и должников, и недоброжелателей, и врагов, и завистников. Профессия у него была такая – прокурор. Смолodu он был человеком свиты, но мелким, в самом хвосте. Как окончил свое юридическое образование в конце сорок первого года, так и направили его в соответствующие органы. Работал в министерстве, но недолго, перевели в Смерш, опять на должность незначительную, скорее писчую. Первый сильный карьерный шаг произошел, когда его привлекли к участию в Нюрнбергском процессе как самого малого чиновника, и тогда открылась перед ним великая перспектива, почти уму не внятная, ошеломляющая. Другой бы попался на этом. Но не Евгений Николаевич. Он крепко задумался – и остановился. Не то что его личный опыт, а как будто каждая клетка мозга и крови вопила – остановись! И он отступил на шаг, пропустил впереди себя одного умницу, потому что вроде как обнаружилась сердечная болезнь – кстати. И стал он вторым лицом. Как мудро это было! Все первые лица, все до единого, сгорели синим пламенем, кто на чем, по большей части и ни на чем, а он, со своей второй ролью, отсиделся, и пронесло.

– Всё чудом, чудом всё, – рассказывал Евгений Николаевич другу Валере об увлекательнейших событиях его молодости. – Не раз, не два, и не сосчитаю сколько – проснусь среди ночи, и вдруг как огнем озарит: или в больницу залечь, или сделать опережающее движение, или даже – демобилизоваться. И такое было...

В юриспруденции Валерий ничего не понимал, зато в антикварном деле имел чутье необыкновенное. Помог ему Евгений Николаевич, молодому дураку, из одного дела выпутаться. Валерий, со своей стороны, немало консультировал старшего товарища в тонких и интересных предприятиях, которые и составляли главный интерес жизни бывшего прокурора. Это собирательство, случайно начавшееся у Евгения Николаевича в давние военные, а особенно в послевоенные времена, сделалось с годами настоящей профессией, прокурорская же работа превратилась в почтенную завесу, но не вполне декоративную: чем далее, тем более вкладывал прокурор неконвертируемых советских денег в конвертируемые ценности.

Место Евгения Николаевича было во главе стола, а за остальными пятнадцатью кувертами, в павловских полукреслах и на гостином диване со скалочками сидели, своими неразумными задницами не ощущая художества безукоризненной мебели, безмозглые претенденты на его имущество – видимое и невидимое, то есть то, которое укрыто было в двух тайных стальных сейфах, движимое, которое они начнут делить еще до похорон, и недвижимое, то есть эту самую квартиру и дачу не ахти какую, но на гектарном генеральском участке в двадцати километрах от Москвы, на берегу реки... Наследники, ни в чем ни уха ни рыла... Ненавидел же он их всех! Но не так просто, не каждого в отдельности – Машуру так даже и любил, и внучатого племянничка, Сашу Козлова, по прозвищу Серенький Козлик, жалел, всю жизнь ему помогал, образование дал. Но ведь убогий человек, ни в чем понятия не имеет. Ветеринар! Собачьим приютом заведует! Всю жизнь по соседям и по знакомым кости собирает! Раз в неделю приезжает к Евгению Николаевичу за мясными объедками – Екатерина Алексеевна в пакет собирает. Вот и теперь сидит за столом и, наверное, прикидывает, сколько объедков своим собачкам унесет... Покойной сестры две пожилые дочери, одна в розовом, другая в голубом, – дуры комолые, одна в хозмаге всю жизнь проработала, по три рубля крада, вторая, смешно сказать, воспитательницей в детском саду тридцать лет работает... И своих четырех девок наплодила, одна другой уродливей, но похожие, различить нельзя... Наследницы!

Но своих детей не было... Пораньше бы свела его жизнь с Иваном Мурадовичем, сделал бы он ему плевую операцию в молодые еще годы, и рожали бы от него бабы...

А из всех чужих детей любил он одну – Люську, Эммочкину дочь. Но она, стерва, с характером, уехала в Израиль – скандально, против семьи пошла. Евгению Николаевичу тогда

работу пришлось менять из-за этого шального отъезда. Впрочем, к лучшему повернулось... А часики анкерные, английской работы, мастера Грэхам, Люська все же взяла, вывезла, квартиру купила в Тель-Авиве, а сколько еще от тех часов осталось – этого Евгений Николаевич не знал. По аукционам последнего времени цена тем грэхамовским часикам от трехсот тысяч начинается... Тогда же Евгений Николаевич понял, что есть большое достоинство в миниатюрных предметах – с точки зрения вывоза. Если с его коллекцией толково распорядиться – не один миллион потянет... А Люська ухаживать за матерью не приехала, как Эммочка ее звала. На похороны зато приехала – наследство получать! Наследница! Вот уж кто ничего не получит, так это Люська... Сколько раз потом пыталась подмылиться, и сама, и через Машуру. Нет так нет. Машка, девочка маленькая, за бабушкой ухаживала, она больше заслужила... Но тоже – вспомнить противно – лучшее Эммино кольцо через две недели в метро потеряла, вместе с перчаткой...

Грызла его мысль о завещании. Очень грызла. И так прикидывал, и эдак. Одно время завещания писал – то на Машуру, то, обозлившись на нее, на Валеру, то на всех делил, то одному кому-нибудь все отписывал.

Да и законы-то – что не так, в казну пойдет. И этот вариант Евгений Николаевич тоже рассматривал: висит, скажем, неплохой Поленов или любимый синерозовый Кустодиев, а под ним надпись: «Дар Русскому музею от Е. Н. Кирикова». Нет, не греет...

Так и получается, что помирить ему невозможно из-за нерешенности этого вопроса, следовательно, главное дело – здоровье поддерживать, покуда решение не явится. Да, собственно, торопиться было некуда. Жаловаться – не на что. Если какие неполадки возникали в механизме, он, как хороший хозяин, тут же устранял. Урология и все, что около лежит, – Иван Мурадович обслуживает наилучшим образом. В позапрошлом году прооперировал косточку на ноге. До того – зубы металлокерамические, самые лучшие поставил. Даже слишком хорошие, могли бы чуток пожелтее, понатуральнее быть. Массажист Саша ходит три раза в неделю, уже лет двадцать. Наверное, уже две машины на его деньги купил... Не жалко. Ничего не жалко. Эммочкина наука – она его научила денег на себя не жалеть. Тратить. До нее он только одно знал – котлы. Часы-часики, тикалки наручные, каминные, каретные, кабинетные... Эммочка глаза открыла, всему научила... Глаз! Вкус! Чутье! Все, что в доме есть, – посуда, серебро, мебель, картины – высшей пробы. А наследников толковых – нету, хотя народу – полный стол! И всем хочется. Даже Екатерина Алексеевна, служащая, и та претендует на строчку в завещании... Но она хоть в чем-то разбирается: холодные закуски всегда прекрасно стряпает, и пироги дрожжевые ей удаются, но горячее – хоть тресни! – всегда пересушивает... Впрочем, гурманов среди них нет, народ непривередливый, мало кто и заметит, если поросенок будет суховат, – ишь как по буфету ударяют. Только Иван Мурадович, восточный человек, понимает, что на тарелке лежит. Ест он аристократически отстраненно, с выражением лица благосклонно-безразличным, и рука его того же оттенка, что слоновая кость черенка рыбной серебряной вилки... Впрочем, он и одними голыми пальцами, без вилки и ножа, тоже ел таким образом, что в голову приходила мысль об игре на музыкальном инструменте или о тех интимных операциях, которыми он двадцать лет занимался... Лицо у Ивана Мурадовича было лишено выражения, и уж, во всяком случае, никакого отношения к пище – восторженного, оценивающего или жадного – на нем не написано. Угощение, собственно говоря, было для мусульманина либо бесспорно несъедобным – вроде студня и поросенка, либо подозрительно, например, пирожки с мясом и салат неизвестно с чем. И ел Иван Мурадович очень с большим выбором и умеренно – белую рыбу, свежие огурцы, баклажаны, зелень... Думал же он вовсе не о еде, а о старшем сыне Абдулле, заканчивающем в Лондоне коммерческую школу, о том, что собирался лететь к нему в эту субботу, но в пятницу предстояла операция над увядшим членом одного богатого человека. И, пожалуй, улететь ему не удастся... Он презирал своих пациентов, теряющих мужскую силу к пятидесяти. Дед его женился последний раз в семье-

сят восемь, и молодая родила ему еще троих детей, и последний был его отцом. И ни о каком медицинском подспорье и не думали эти азиатские старики, сухие, белобородые, с нестаряющимися своими кинжалами... Размышлял Иван Мурадович о преимуществе мусульманского мира, о могучей витальной силе, давно иссякшей у европейцев... А вот женщины русские были привлекательны, очень привлекательны... Поглядывал на Машуру, с ее ангельски-кошачьим личиком, на еще одну, в розовом, увядшую, длиннолицую, но чем-то привлекательную... И медленно орудовал рыбным ножом.

Машура, Эммочкиного воспитания, тоже умела есть, а муж ее Антон – вахлак. Рубает, как матрос. Если Машка с ним разведется, я ее сюда пропишу. Иначе – нет. По теперешним законам муж имеет право на ее собственность, если она получена в то время, когда они состояли в браке. А может, Ленку питерскую пропишу. Скажу – как родственницу, если разведешься. Нет, это как раз будет глупость. Она-то с радостью разведется. Еще и притащится сюда со своей дочкой. Скучная материя... Собственно говоря, завещание-то давно уже было написано. Только оно перестало Евгения Николаевича удовлетворять. И зачем он голову ломает, в каких долях этим придуркам добро разделить? Машура вон за полчаса разгрохала тарелку и два бокала, причем один совсем хороший, старого русского стекла... Ну зачем ей посуда?

Гости кушали и славили хозяина – за ум, талант, умение жить, желали многих лет жизни, а хозяин ругал себя, что устроил это скучное празднование вместо того, чтобы взять путевку в Карловы Вары и отметить свое восьмидесятилетие там, в компании какой-нибудь молодой бабешки, или Ленку питерскую с собой взять, или еще одну, Ирину Ивановну, агентшу из турбюро, она ему намекнула, что поехала бы с ним... Да мало ли...

Разошлись в первом часу. Екатерина Алексеевна была отпущена после подачи горячего, Машура сносила чайную посуду на кухню, а Евгений Николаевич из кабинета ожидал стеклянного звона, но, видно, она на сегодня программу свою уже выполнила. Ленка мыла посуду, опоясавшись длинным полотенцем. Евгений Николаевич испытывал некоторое нетерпение – хотелось испробовать новинку. И радовался своему нетерпению, как свидетельству не совсем еще умершей эмоциональной жизни.

Машура наконец ушла, поцеловав деда на пороге. Он подмигнул ей. Обычно она пихала его мелким кулачком в живот – такая игра сохранилась между ними с детства. Но на этот раз Машура не ответила. Обиделась, дура, что я жемчуга Ленке подарил. А может, докумекала чего?

«Да все равно хорошая девочка, – решил Евгений Николаевич и поцеловал в стриженный мужским ежиком затылок. – Подарю ей на Новый год жука с изумрудом. – И тут же передумал: – Лучше денег подарю, долларов триста. На что ей жук от Фаберже? Потеряет...»

Ленка тоже была хорошая девочка, но в другом роде. Привычки Евгения Николаевича давно ей были известны, и вела она себя скромненько, делала вид, что только для того и приехала, чтобы помочь двоюродному дядюшке посуду после гостей помыть. Ей было тридцать четыре года, и началась эта история двенадцать лет тому назад, при жизни Эммы Григорьевны... Как-то раз она остановилась у них на правах дальней родственницы, приехавшей в Москву на экскурсию, и тогда случайно произошло неожиданное сближение. Эмма Григорьевна отлучилась тогда на Новый Арбат к косметичке. И дядя зашел к ней в гостевую комнату, и она даже не сразу и поняла, чего он хочет, и, когда собралась зарыдать от молниеносной неожиданности и неправдоподобной ловкости, с которой овладел ею пожилой родственник, он сказал ей строго, как начальник:

– А ну перестань. Быстро скажи, чего ты хочешь? Шубу хочешь? Ну, чего хочешь, говори...

И она согласилась на шубу... Дядюшка был щедр, подарил ей на свадьбу тысячу рублей, когда дочка родилась, опять же денег прислал. Всякий раз, когда Лена приезжала в Москву, покупал ей такие подарки, что она в собственных глазах вырастала. Два кольца у нее было –

всем подругам говорила, что наследственные. Мужу, Сережке, сказала – от бабушки наследство. Одно, правда, продать пришлось, когда муж чуть в тюрьму не сел. Откупились теми деньгами. На этот раз была у Лены особая миссия: она собиралась у Евгения Николаевича денег на квартиру просить. У нее квартира была хоть и двухкомнатная, но всего двадцать четыре метра, не повернешься. Хотела просить в долг, но планировала – без отдачи. Десять тысяч долларов собиралась просить на доплату – соседи продавали трехкомнатную. Это надо было воздуху набрать, чтобы такое выговорить. Но Сережка очень напирал – попроси у дядьки, он тебе не откажет... Был Сережа молодой, на четыре года жены моложе, и не подозревал он восьмидесятилетнего старика, которого, кстати, в глаза не видел, в сексуальной прыти.

А Лена не успела и рук вытереть, как Евгений Николаевич обхватил ее самоварную задницу... Они не часто виделись, давние любовники. От силы два раза в год. И играли все в одну и ту же игру – как будто происходит с Ленкой случайность, нечто – ах! первый раз! И она, юная, потрясенная, шарахается, не очень упорно защищая свою девичью честь. Она давно знала о технических ухищрениях дядюшки и относилась к этому с уважением – так-то, попростому, любой дурак может. Если быть честной, ей нравился Евгений Николаевич – запах его дорогих одеколонов, чистота, красота и богатство его дома, и подарки его нравились. И как он обставлял всякий раз как будто случайную любовь. С мужем Сережей все было куда как менее интересно. А в этот раз Евгений Николаевич был вообще – прима, и Ленка догадалась, что подшили ему какую-то штуковину, которая была, по всему виду, безотказная.

Евгений Николаевич оценил новинку не так однозначно, как партнерша, – сам процесс шел отлично, но завершающая фаза смазанная – вроде как электрический утюг выключили, он и остывает. За долгие годы общения со специалистами, да и по складу характера он не искал ничего таинственного в этом обыкновенном и приятном деле, заботился о качественных показателях, но собирался назавтра доложить Ивану Мурадовичу о своих ощущениях и наблюдениях. В общем, оргазму не хватало остроты...

Уезжала Ленка дневным поездом, он ее слегка мариновал с подарком. Конвертик он ей приготовил, но не отдавал... Позавтракали, сыграли партию в шахматы – это было странное ее достоинство, очень прилично для дамы играла в шахматы. Она слегка нервничала, пора уже было рот раскрыть и денег попросить, но все не могла себя перемочь. Евгений Николаевич выиграл малоинтересную партию, сложил фигуры в ячейки, белой кожей подбитые, и велел Ленке принести ему из кабинета деревянную шкатулочку, которая стоит на письменном столе. Лена принесла. Он велел раскрыть. Там лежал конверт. Он велел раскрыть – потому что ему хотелось получить еще немного удовольствия, видя, как вспыхивает она едва ли не до слез, стесняется, прикладывает руки к щекам, ахает и целует его в чисто выбритый жидковатый подбородок. Она все это и проделала, как он ожидал. Это был отличный спектакль на двоих, отменно сыгранный и обоим участникам доставляющий неизменное удовольствие при минимуме неожиданности.

Но на этот раз ждала Евгения Николаевича неожиданность: Леночка пересчитала деньги – тысяча долларов там была, ни много ни мало, – положила их в конверт, помолчала, опустив густоволосую, со старомодным, как любил Евгений Николаевич, пучком голову, и, глядя в стол, тихо и деловито попросила Евгения Николаевича одолжить ей еще десять тысяч на расширение площади квартиры...

Евгений Николаевич глазом не моргнул, постукал чистыми пальцами по шахматному ящичку и сказал деловито:

– Этот вопрос мы сейчас решать не будем. Отложим на время...

Лене очень хотелось спросить, на какое время, но она всей душой понимала, что вопрос этот будет неправильным, и промолчала.

Перед дорогой попили чаю, Лена съела пирожное из вчерашних оставшихся, Евгений Николаевич пирожного не стал. Потом к условленному времени приехал шофер Костя и отвез Леночку на Ленинградский вокзал.

Евгений Николаевич позвонил Ивану Мурадовичу, отчитался о вчерашнем мероприятии. Тот назначил ему на вторник – чтобы пришел в лабораторию кое-какие анализы сдать. Потом Костя вернулся и отвез его к одному коллекционеру, Илье Израилевичу, – тот был, как и Евгений Николаевич, не маньяк какой-то одной идеи, а тоже собирал из разных областей: и гравюры у него были, и книги, и карты. Отдельным предметом собирательства были старинные приборы – всяческие астролябии, подзорные трубы и телескопы. Не брезговал он и музыкальными шкатулками. И теперь к нему попала преотличная, судя по описанию, музыкальная шкатулка восемнадцатого века с часами, а на часах имеется вроде бы знак немецкого часовщика Петера Кицинга. И Илья Израилевич просил приятеля взглянуть на эту марку, точно ли Кицинг. А Евгению Николаевичу это тоже было небезынтересно – по старой и первой своей привязанности... И он отложил неприятные размышления о завещании на другой день, решивши в этот вечер насладиться профессиональным общением, а может, и кой-какой negociацией. Илья Израилевич славился по Москве способностью всех перепить, а также необыкновенной азартностью: если ему чего приглянется, он всех конкурентов ценой перешибал, иногда и весьма несуразно. А у Евгения Николаевича было одно русское бумажное издание весьма редкое, как раз того рода, который Илья Израилевич особенно ценил.

До позднего вечера просидел Евгений Николаевич у приятеля. Начал с дружеского подношения – маленькую книжечку Лисицкого, дореволюционную, из первых, тираж двести экземпляров. Илья Израилевич даже забеспокоился несколько – подарок был превышающий незначительный повод встречи... Выпивали. Илья Израилевич показывал свои диковинки. Евгений Николаевич долго рассматривал шкатулку. Она не очень ему показалась. Громоздкая, грубоватая. Механика, правда, безукоризненная, и часовая, и собственно музыкальная часть. Подтвердил ее происхождение. Этот Илья Израилевич начинал от мастеровых, был механик отменный и собственноручно всю эту механику отладил, на ход поставил. Евгений Николаевич, может, более всего это и ценил – сам он имел глаз, понимание, а вот руками никогда ни к чему не прикасался, кроме авторучки. Дом Ильи Израилевича был шумный, время от времени в комнату врывается какая-нибудь растрепанная девица, одна из его многочисленных дочерей и племянниц, или младенец. Он всем давал – кому денег, кому телефонный номер из записной книжки, мальчонке лет шести вынул из ящика стола большой красно-синий карандаш советских времен... Евгений Николаевич оглядывал стеллажи, шкафы и завалы книг на всех стульях, расставленные на столах приборы и инструменты и размышлял о том, какая же судьба ожидает коллекцию Ильи Израилевича... Лохматые девки эти передерутся, все пойдет по рукам: и футуристы, и коллекция двадцатых годов. А ведь как хорошо, когда все можно передать в хорошие руки, и в одни.

В ту ночь Евгений Николаевич плохо спал, и сон снился какой-то дрянной – с покойной женой ссорился из-за каких-то билетов. Только не удалось вспомнить, то ли он хотел ехать, а она возражала, то ли, наоборот, она требовала немедленно уезжать, а он никуда не хотел. А потом набежала стая разнокалиберных собак, великое множество, и все, включая Эмму, исчезло. Он проснулся, потом снова заснул, встал позже обыкновенного, долго лежал в постели, вяло обдумывал события двух минувших дней. Ленке решил денег на квартиру не давать, Машку – не прописывать. А всех прочих своих наследников поочередно пригласить на собеседование, посмотреть, кто чем дышит.

Главная же забота Евгения Николаевича была коллекция, потому что наличных денег было у него немного, он дома больше трех тысяч не держал, настоящих же денег стоила коллекция, причем самая ценная часть ее была еще в шестидесятом году замурована в сейфе, в стене спальни, и сделано все было так, что ничем не проточишь. И три ремонта с тех пор

прошли по стенам, никаких следов... Открыть мог только тот, кому Евгений Николаевич сам покажет. Ключи от сейфа он давно уже передал Валерию Михайловичу, но не показал, где сейф. Никому не показал. А надо бы...

Но это – в последнюю очередь. Для начала Евгений Николаевич решил побеседовать с каждым из наследников в отдельности, прощупать, кто чем дышит, а там уж и определить, кто наиболее достойный. В списке родственников значилось двенадцать человек.

Это растянувшееся на три месяца мероприятие доставило Евгению Николаевичу, против ожидания, огромное удовольствие, начиная с первого визита, когда он пригласил своих племянниц – розовую и голубую – прийти не вместе, а по отдельности. Как он понял, поссорились они по этой причине сразу же, как только начали обсуждение, кто же из них идет второй. Почему-то каждой из сестер хотелось пропустить другую впереди себя... Кажется, это была их первая ссора за всю жизнь. Но ставка оказалась слишком высока: ясно было, что речь шла о большом наследстве – одна из сестер была многодетная, считала, что и наследство от дядюшки справедливо делить не на них двоих, а на шесть частей, учитывая ее дочерей. Бездетная же уверена была, что по справедливости – на двоих, поскольку не должна она страдать от своей бездетности – она и так всю жизнь своим племянницам помогала и подарками, и деньгами.

Евгений Николаевич дал им время немного поспорить, а потом пригласил бездетную, в розовом. И она пришла, полная обиды на сестру, на магазинное начальство, на общую несправедливость жизни. Евгений Николаевич слушал ее внимательно, он делал это профессионально, и вопросы задавал короткие, точные. И, как ей показалось, очень сочувственные. Во всяком случае, ушла она в состоянии удовлетворения, и особенно удачно удалось ей вернуть уже в дверях, как беспокоится она за своих племянниц, потому что одна только девочка толковая, учится, а другие три шальные, беспутные, и прока от них ждать не приходится – стакана воды не подадут. Не то что она, их тетушка, которая, если что надо, в любой момент тут как тут, и поможет, и присмотрит по-родственному...

В голубом пришла через неделю. Она молчала, на дядюшкины вопросы отвечала скупой, на жизнь не жаловалась. Говорила – все хорошо, девочки хорошие, и кто учится – хорошо учится, а кто работает – хорошо работает. А под конец разрыдалась, потому что ее чуткой душе открылось, что сестра дорогая обошла ее на кривой козе и ничего она от дядюшки не получит, а все сестре достанется. И тогда Евгений Николаевич утешил ее, по голове погладил, вытер платком, как она сама вытирала своим воспитанникам, ее обидные слезы и плакать не велел. И даже спросил, какие у нее нужды особые. И она, все горше плача, от сердца поведала ему, как трудно растить без мужа, и как горько ей было брошенной в тридцать лет с четырьмя одной оставаться, и спасибо ему, что он, дядя родной, ей вроде как алименты давал за исчезнувшего мужа, пока девочки в школу ходили... И тогда он подарил ей сто долларов, и велел идти и не плакать, а старшую, которая бухгалтерские курсы закончила, обещал на хорошую работу пристроить, если она, конечно, не полная дура – как ты, Валентина, всю жизнь была...

И ушла Валентина, в голубом, обнадеженная. Наследство девчачье, казалось, она отбила...

Двоюродному брату Славе велел приходить без жены для семейного разговора. Но жена его одного не пустила. Евгений Николаевич озлился, но виду не подал. Напоил чаем, поговорил о погоде. Жена Славина и так и сяк, все пыталась навести его на то, зачем он их пригласил: про трудности жизни, про одинокую старость, и кто ему помогает, и хорошо ли обслуживают... А Евгений Николаевич – все о погоде. Слава-то знал его отлично, всю жизнь побаивался, сидел молча и даже немного радовался такому повороту событий: говорил он Райке, чтоб дома сидела, а она потащилась. Пусть теперь знает, как себя вести надо. До пятидесяти лет дожила, ума не нажила. Одна жадность глупая. Но все ж таки ему ее жалко было, когда она расплакалась прямо на лестнице у Евгения Николаевича, сдержаться не смогла... Уж так ей хотелось дачу Евгения Николаевича заполнить. Родни-то у него настоящей все равно нет. Кто ему Машка-то? Никто!

Покойной жены внука от другого мужа! А Славин отец Владимир – брат родной Евгению Кирикову... Может, прав был Слава, лучше бы дома ей остаться. Потому она и плакала, что сама все испортила. Слава же, черт ехидный, фальшиво ее утешал, а сам радовался – не нужна ему была ни дача, ни машина, вообще ничего – он любил только телевизор смотреть, на диване лежа, придурок, ей-богу... И она спустила на него собак, как положено, высказала ему все о его ничтожности. А он, человек мягкий, вдруг – и как на него наехало! – отвесил ей затрепину. Первый раз в жизни. Она взвыла и ревела до самого дома...

Брат Эммы Григорьевны был, конечно, ни при чем. Однако, когда Эмма умерла пять лет тому назад, он из своей Германии вроде бы как приняховался, не светит ли ему. Эмма еще во время болезни разделила семейные фотографии на две пачки, несмотря на слабость и сильные боли, которые ее последние месяцы донимали, оформила в два альбома, один – Люське с Машкой, второй – брату. Он его и получил. Смотреть же на этого Семена-писателя было Евгению Николаевичу неприятно. Он был очень похож лицом на Эмму – брови, глаза, даже улыбка уголками рта вверх... И он – жив, а ее нет. Евгений Николаевич был тогда вне себя – никак не мог с Эммочкиной смертью смириться – он ее выбрал из многих женщин, только одну такую за всю жизнь и встретил, с которой и жить – радоваться, и стареть, и болеть...

И ведь как умна была – свободу давала, не ревновала по мелочовке. И вот теперь этот Семен Григорьевич приехал в Москву публиковать свои никчемные книги, сидит здесь уже три месяца, а что ему? Немецкая пенсия идет. И притащился к Евгению Николаевичу на восьмидесятилетие, и по телефону звонит. И вообще хочет общаться изо всех сил. Может, и ему чего-то надо? Позвал его Евгений Николаевич просто так, прощупать... Разговор же получился интереснейший. Оказывается, на дармовых немецких хлебах стал писатель исследовать проблему еврейского имущества, прихваченного фашистами. Заодно всплывали всякие интересные истории, и не фашистские, а советские. И на десятой минуте разговора догадался Евгений Николаевич, что этот самый брат имеет к нему интерес возвышенный – хотел про Нюрнбергский процесс порасспросить...

Евгений Николаевич рукой махнул:

– Да какое там мое участие, мальчишкой на побегушках... Вышинскому стакан чаю подносил...

Разбежался! Нашел информатора. И сам грамотный: захочу, сам такое напишу, что вы все закачаетесь. Только не буду этого делать. А тебе, брат Семен Григорьевич, фотографию дарю: узнаешь? Точно! Геринг на первом плане, а позади него кто? Не узнаешь? Я, само собой! Правильно!

Однако приятно – еврейские проблемы его волнуют, а наследство – нет. Бывают же такие идейные евреи. Эммочка попрактичней была! А вот Люська много не получит. Не заслужила.

Потом приехала двоюродная сестра из Киева. Он ей позвонил – она сразу и прикатила. Хотя, между прочим, с днем рождения не поздравила. Ну ладно. Приехала с дочкой. Оказалось, процветают! У дочки муж коммерсант, торгует компьютерами. Там, на Украине, у них своя проблема – русских не любят. Но дочка за хохлом, поставляет он компьютеры по всем их правительственным организациям, торгует направо-налево, то в Англию, то еще куда-то разъезжает. Сначала обе они по привычке все пыль в глаза пускали, это в первый день. Но, видимо, ночью они между собой переговорили, оценили Евгения Николаевича одинокое положение, которое он им обрисовал скудными словами, также и очевидное его богатство – отдельное впечатление произвели замки на дверях. Сестра воров боялась, и замки у нее в Киеве были оборудованы наилучшие. У кузена Евгения были куда как позатейливей. Словом, на другой день разговор уже пошел другой – бабы больше не хвастали. Напротив, все сочувствовали Евгению Николаевичу. Сестра пригласила его на лето приехать к ним на дачу – зять два года тому назад купил дом в Ялте, вилла настоящая! Живи там хоть все лето. Море рядом. Прислуга круглый год. Пара семейная, потомки петербургских аристократов, с революции застряли в Ялте. Тре-

тые поколение уже – забавные такие. Салфетки к завтраку она сворачивает то домиком, то птичкой. Бабушка ее научила. Словом, Женя, как надумаешь, приезжай, всегда рады. И муж мой – влезает племянница – с такими связями, что, если что надо, вопросов нет. И врачи самые лучшие у нас, в Киеве, и питание самое натуральное... Всегда рады...

Отвез их шофер Костя в аэропорт. С тех пор сестра звонит каждую неделю по сю пору, о здоровье осведомляется. Мебель ей, видите ли, понравилась. Похвалила.

Дольше всех не шел Саша Козлик – три раза откладывал. Звонил, извинялся. Наконец пришел. Лет ему около сорока. Тощий, курносый, жидкие волосенки. Под глазами – круги, в глазах – страсть... Страсть редкая – собачья.

А ведь алкаш, догадался про него проницательный Евгений Николаевич. И ошибся. Во всяком случае, если и был он алкаш, то завязавший. От водки-коньяка отказался, пил чай. Выпил чашек шесть, крепкого, с сахаром. Но при этом едва-едва один бутерброд дожевал, без всякого интереса ел. Говорил же – не останавливай. Про собак. Про дикие, нечеловеческие страдания бездомных, брошенных и одичавших животных, про раны, нанесенные им жестокими людьми, и что самое страшное – детьми. Говорил о трагической бессловесности всего тварного мира, о пропасти непонимания между людьми и животными.

Евгений Николаевич сделал не одну попытку перевести стрелку на его личную жизнь, на какую-нибудь тему, к собакам отношения не имеющую. Но из этого ничего не вышло.

Он говорил о своих псинах, шавках, о дворнягах и породистых, шариках, джеках, альмах... О собачьем бешенстве и авитаминозе, о течках и гонах, об истории собачьего племени, о древнейших охотничьих собаках и о древних декоративных. Но главное, что его мучило, что составляло смысл, цель и призвание его жизни, было создание приюта для бездомных собак. Он давно уже обивал пороги всех столичных организаций, в подробностях рассказал Евгению Николаевичу о всех письмах во все инстанции, которые написал за свою жизнь. Евгению Николаевичу давно уже стало ясно, что имеет дело с безопасным сумасшедшим. Он слушал его почти два часа. Речь Козлика была вполне связной, и логика в ней присутствовала, только весь он, вместе со своими собаками, как будто с Луны свалился. Наконец он достал распадающийся надвое бумажник, вынул из него любительскую фотографию и предъявил Евгению Николаевичу:

– Топа, моя первая собака, девятнадцать лет со мной прожила. Умнейшее существо, благороднейшее... От диабета умерла.

Мутная собачья морда с острыми ушами улыбалась с потертой фотографии.

«Хватит, пожалуй», – решил Евгений Николаевич и закончил визит элегантнейшим способом:

– Саша, там Екатерина Алексеевна полную сумку продуктов собрала для твоих питомцев.

Козлик с голодным блеском в глазах схватил два больших пакета, поблагодарил и умчался, оставив после себя крепкий синий дух...

Убирая чашки в буфет волнистой березы, Евгений Николаевич улыбался и качал головой: наследнички ему попались, хоть не помирай... Впрочем, помирать он и не собирался.

Машура приходила к нему по меньшей мере раз в неделю. С ней приятно было поболтать о том о сем. Иногда она могла и какое-нибудь хозяйственное поручение выполнить. Но обыкновенно Евгений Николаевич ее не загружал, предпочитал наемный труд – была Екатерина Алексеевна, вполне еще крепкая старуха, шофер Костя, да и Валерий Михайлович, преданнейший друг и ассистент, всегда готов был удружить.

Машура занималась журналистикой, второй год как закончила университет и страшно была увлечена всем на свете – то писала про какого-то шамана, то ехала в полуживой научный городок военного направления и делала репортаж о великом прошлом и скорбном настоящем его жителей, а то вдруг ее послали в командировку на остров Бали от какой-то туристической фирмы, чтоб она написала, как там славно отдыхать... И Машура рассказывала обо всем деду,

а он слушал ее с удовольствием и понимал, что права она была, добиваясь этой никчемной профессии, а он, Евгений Николаевич, был не прав, заявляя, что глупей занятия не придумать. Дело оказалось как раз по ней. Хорошая, очень хорошая девчонка. Сильно не нравилось ему в Машке сейчас только одно – муж ее Антон, из-за которого отношения их разлаживались. Евгению Николаевичу картина ясна была с первой минуты его жениховства: бочком, бочком – и прямо к кормушке, сиротка провинциальная, все из Машки тянет, а она, дурочка, не понимает. И Антон этот вологодский отравлял Евгению Николаевичу жизнь – потому что, пока она за ним замужем, не мог он на нее оставлять наследство. Не хотел. И все...

И разговор с приемной своей внучкой повел Евгений Николаевич очень жесткий, так и сказал начистоту: старое свое завещание отменяю – пока ты с Антоном не разведешься, ни на что не рассчитывай.

И тут Евгений Николаевич получил от Машки такой отлуп, какого в жизни не имел, – маленькая эта жучка посмотрела на него Эмочкиными серо-зелеными глазами, подняла левую бровь, как бабушка, бывало, делала, и сказала ему спокойненько:

– Дед, а не сошел ли ты с ума? Уж не думаешь ли ты, что я из-за твоего старого дивана разведусь с любимым человеком? Из-за ложек серебряных? Да?

И она захохотала звонко и совершенно естественно, и это было так оскорбительно, так обидно Евгению Николаевичу – никто так его не унижал. Он сдержался, пожал плечами:

– Тебе решать.

Она вскочила, подергала его за уши, ткнула кулачком в живот, но теперь у него не было охоты к шуткам.

– Ты подумай, как бы тебе не прогадать, – хмуро пригрозил он ей и сразу же почувствовал, что не то сказал.

– Ага, ночей спать не буду, буду взвешивать, как бы не прогадать, – фыркнула засранка.

В результате не спал теперь он, Евгений Николаевич. Бессонница пошла на пользу – в ночной душевной тишине он принял не одно решение, а несколько. Первое – с завещанием нашел остроумное решение. Потом – с дачей: перестроить. А может, снести старую целиком и отстроить заново, по всем теперешним правилам, в три уровня, с сауной, гаражом. Участок – гектар, можно и пруд вырыть. И жить круглый год на даче. Квартиру – продать. Она вообще устарела. Сталинский дом, высотка, по прежним меркам превосходный, по теперешним – говно. Окна маленькие, все на площадь, шум и вонь с утра до ночи, лифты допотопные, подземного гаража нет... Все. Избавляться. Был бы помоложе, можно бы отделку современную сделать и сдавать. Да на что они нужны, эти две тысячи? Если уж квартиру в городе иметь, то небольшую, элитную, в центре. Коллекцию часов – продать! Через «Сотбис» или через «Кристи», это надо обдумать. Деньги – в хороший банк. Поручить продажу Валерию Михайловичу – на процент. И что там Машка про Бали писала? Да, попробовать все по-новому. Зимой, в слякоть, в грязь, в московскую темень, – в Бали, к чертовой матери, мало ли островов Канарских и прочих, гостиниц пятизвездочных, молоденьких блядей? Десять лет у меня в запасе есть... Дед Кириков до девяности пяти дотянул. Или до девяности восьми? А завещание – напишу. И Машуре предъявлю, чтоб знала. Таким путем...

И сон у Евгения Николаевича наладился. И настроение поднялось. И, кроме всего прочего, произошло одно незначительное, но забавнейшее событие – прогуливаясь в послеобеденный час по улице Чехова, Евгений Николаевич наступил на потерянный женский шарфик и поднял его, чтобы повесить на ближайшую ручку двери. Подняв, почувствовал рукой что-то мелко-острое – оказалась прицепившаяся к шарфику серьга. Да не просто так, – трехкартанный сапфир-кабошон с бриллиантовым глазком сверху... Смешно, ей-богу. Теперь, когда Евгений Николаевич решил закончить со своим собирательством, коллекцию продать и забыть, – такой маленький соблазн, детский какой-то. Сначала подумал – закажу Машуре кольцо сапфировое. И тут же плюнул в сердцах...

Дело задуманное было грандиозным. Первое – опись коллекции. Те двенадцать драгоценнейших номеров, что в сейфе, шли отдельным списком. Остальное сделали вместе с Валерием. Дальше пошла работа с нотариусом. Сделали доверенность на Валерия, с правом переверения. Вся схема была Евгению Николаевичу давно известная, он ею не раз пользовался – переправлял часики, продавал через доверенных лиц. Но здесь суммы были слишком велики. Были у него и свои механизмы контроля, такие ребятки, что босыми по снегу не ходили. Обутые-переобутые... И сами кого хошь обуют. Валера был надежнейший, но, помимо того, у Евгения Николаевича лет двадцать были на руках еще и бумаги кое-какие на Валерия Михайловича. В сейфе лежали, там же, где припрятанные часы. Прокурор все-таки.

Два месяца полных ушло на бумажные дела. Пришлось подключать еще одного банковского мальчика – он удивил Евгения Николаевича своим юным видом. Оказался толковым и давал гарантии. Когда завещание было составлено, накануне прихода нотариуса Евгений Николаевич вызвал Машуру. Прежде чем показать ей новое завещание, сказал:

– До завтра еще можно переписать. Я ставлю вопрос так: разведись. Мне надо, чтобы ты была разведена на момент получения недвижимости, когда я помру. Ты понимаешь? А спать спи с кем хочешь, хоть с бывшим мужем. Это меня не касается.

– Дед, я как раз хотела тебе сказать, что беременна. Так что о разводе речи быть не может. И не подумаю... – И отодвинула бумагу, не читая.

– Ну и чудно, – улыбнулся Евгений Николаевич. – Получишь от меня красивую чашечку.

– Супрематическую, хорошо?

– Договорились, – кивнул Евгений Николаевич.

И у Люськи такой же непреклонный характер.

И похожи на Эмму, и совсем другие, черт их подери. Но будет по-моему, решил Евгений Николаевич.

Получилось, однако, по-третьему: и не так, и не так. Прошла ровно неделя после разговора с Машурой, и все, что наметил, исполнил Евгений Николаевич с полной точностью: завещание заверил, опись передал Валере и накануне своего последнего дня передал ему ключ от замурованного сейфа, а точную инструкцию, где стену разбирать, передал в другие руки, банковскому мальчику. Знал Евгений Николаевич, как дела делаются.

Неранним утром, уже после рынка, пришла Екатерина Алексеевна с продуктовой сумочкой, долго звонила в дверь, но Евгений Николаевич не открыл. Она ждала час у двери, потом поехала в полном недоумении домой, оттуда звонила до самого вечера, но и к телефону он не подходил. Около девяти вечера позвонила Маше, сказала, что тревожится, не случилось ли чего. Маша была раздражена, разговаривала с Екатериной Алексеевной почти грубо, сказала, что сегодня ей ехать не с руки, а поедет завтра утром. Однако устыдилась и поехала. У нее у единственной были ключи от квартиры. Она приехала в половине одиннадцатого, позвонила в дверь, ожидая, что дед откроет как ни в чем не бывало и опять она будет в дураках: притащилась усталая слушать его шантажные глупости. Но никто ей не открыл, и она двумя хитроумными ключами попыталась открыть дверь, но дверь изнутри оказалась заблокирована. Вызвала Валерия Михайловича. Тот сразу же побежал за милицией. Приехали два милиционера, взломали дверь. Вошли – и обнаружили Евгения Николаевича в спальне, сидящим возле бюро и всей грудью навалившимся на откинутую доску. Рядом стакан с водой и гора таблеток, из которых, видно, он ничего не успел выпить.

Маша сразу поняла, что он мертв. Голова лежала боком, и красивое его лицо имело желтовато-белый оттенок старого мрамора. На губах засохла сухая пена, похожая на мыльную... Составили протокол. Понаехало каких-то людей. Маша позвонила Антону, чтобы он приехал. Ее второй месяц беспрестанно тошнило, и ей очень хотелось, чтобы все поскорее кончилось и она могла уйти домой и лечь спать. Милиционер спросил документы, и Машины тоже. Все у деда было на местах, все в порядке. Она достала свидетельство о смерти бабушки, и копию

их брачного свидетельства, и копию метрики Люськи, и копию метрики своей собственной – все было на известном месте, в известной папке. Один из милиционеров спросил, откуда она знает, где что лежит.

– Да я в этом доме родилась. Три года назад, когда замуж вышла, дед мне однокомнатную купил... А так я здесь всегда и жила... И прописана здесь была...

Только к утру приехала машина и забрала деда. В бумаге врачи написали – остановка сердца.

Потом началась суета – звонили родственники, приезжали. Полный дом народу. Денег в бюро было три тысячи. Маша думала, что Валерий Михайлович возьмет на себя все хлопоты по похоронам, но он как-то скромно стоял сбоку, инициативы не проявлял. Тогда Антон, Машин муж, взял эти три тысячи и стал всем распоряжаться. Валерий Михайлович только советовал, что все должно быть самым лучшим. А и так все было самое лучшее: Эмма Григорьевна похоронена на Ваганьковском, участок просторный, на две могилы. Поминки заказали в «Праге» – Евгений Николаевич «Прагу» любил с давних времен. Он там всех знал, и его все знали. Потому что начальство-то менялось, а старые клиенты оставались. Отпевали в Ваганьковской церкви, но Машура внутрь не заходила, ее как раз тошнило сильнее обычного. Слушала она с улицы стройное пение – Валерий Михайлович велел певчих каких-то особых оплатить.

В том же самом Ореховом зале, где справляли когда-то семидесятилетие, теперь собрались на поминки. Народу было человек шестьдесят, не одни только родственники. Стол был накрыт богато и старомодно – с блинами, киселем, кутьей и всеми православными примочками, в которых Валерий Михайлович оказался большим знатоком.

Трех тысяч почему-то не хватило, и Валерий Михайлович сам вызвался доложить сколько надо. И доложил. Машура порадовалась за него: он всегда казался ей каким-то скользким и подозрительным. Но, видно, прав был дед, что так его к себе приблизил, – вел он себя в высшей степени достойно. Довольно рано закончилось поминание, и Валерий Михайлович пригласил всех родственников зайти на минуту на квартиру к Евгению Николаевичу. И пошли, ни о чем не спрашивая. Ясное дело, речь шла о завещании.

Маша открыла, вошла первая. Зеркало у двери завешено было белой простыней, и от этого прихожая как ослепла. Все утыкались глазами в эту неприятную белизну и отводили глаза. Родственников оказалась толпа: друг на друга не смотрели, а как-то в сторону – кто в окно, кто в стену. Розово-голубые сестры и вовсе повернулись друг к другу спиной. Каждая чувствовала себя немного предательницей, потому что каждая была уверена, что раздел долей произойдет именно в ее пользу. Вокруг многодетной частоколом стояли четыре хмурые девицы. Присутствовал и брат двоюродный с женой, и шурин, и все племянники. Лена Питерская приехала с мужем – десять тысяч под охраной домой везти. А Саша Козлов поехал прямо с кладбища по своим собачьим делам: какая-то знатная сука разродиться без него не могла, ему предстояло кесарево сечение производить. Потому его и на поминках не было.

Валерий Михайлович вынул из бюро бумаги и огласил. Завещание было коротким, как кинжальный удар. Все свое имущество, движимое и недвижимое, он завещал своему племяннику, Козлову Александру Ивановичу, целево – на организацию и содержание собачьего приюта. Каждого из родственников – перечислены поименно, никого не забыл – он одарял коллекционной чашкой, включая четырех внучатых племянниц, частоколом стоящих возле голубой мамыши.

Маше была особо оговорена чашка супрематическая, работы ученика Казимира Малевича по фамилии Хейдекель.

Доверенным лицом для производства всех продаж имущества, включая коллекцию часов, назначался Валерий Михайлович. Ему же предназначалась сумма в десять тысяч амери-

канских долларов – за многотрудную работу по ликвидации имущества и передаче основных денег в фонд организации собачьего приюта.

Машура тихонько вышла в коридор – удивительное дело, такой маленький ребеночек, всего двенадцать недель, а тошнит круглые сутки. Маша заперлась в уборной и сбила – с утра уже восьмой раз.

Все тяжело молчали. Только Женя-Арахис, которая в родственницах не состояла, но нахально приперлась на интимнейшую семейную встречу, тихо взвизгнула:

– Все собакам? Да в суд надо подавать!

– Видите ли, – вежливо пояснил Валерий Михайлович, – поскольку среди родственников нет прямых наследников, суд, скорее всего, не примет дело к рассмотрению. Но попытаться можно.

Машура подошла к горке, вынула странно квадратную фаянсовую чашку с асимметричной ручкой, потом положила ключи от квартиры на стол и вышла из комнаты.

Лена питерская тихо плакала, глядя в окно. Она плакала уже четвертый день, с тех пор как узнала о смерти Евгения Николаевича. Не в деньгах дело – он был такой... такой, какого у нее уж никогда не будет. Но и ускользнувших денег тоже было жаль. Он бы дал, если б был жив...

Антон был в тихом бешенстве. Завел Машу на кухню, сказал, что надо опротестовывать завещание: какие собаки, у него родственников дюжина.

– Да никогда в жизни! – улыбнулась Маша. – Здесь, Антоша, нашего ничего нет. Если б он все мне оставил, было б хуже... Не могу тебе объяснить – ничего этого в руки брать нельзя...

Все-таки Евгений Николаевич был действительно всех умней – Антон Машку оставил еще до рождения ребенка. А что собачки не получили тех двенадцати предметов, которые в сейфе сохранялись, оно не так страшно – им и так очень много досталось. Потому что в Сером Козлике Евгений Николаевич не ошибся.

Женщины русских селений

Стол был накрыт с роскошью бедняков: вся еда, приготовленная без соприкосновения с руками человека, была куплена в «Зейбарс», в дорогой кулинарии на Восемьдесят первой, приволочена Верой на своем горбу через весь Нью-Йорк в Квинс и разложена наспех в простецкие китайские плошки. Еды оказалось вдвое больше, чем нужно для трех стремящихся к похуданию женщин, а выпивки – на пятерых пьющих мужиков, которых как раз и не было.

Обилие выпивки образовалось случайно: хозяйка дома Вера выставила от себя водки обыкновенной, без затей, и еще одна стояла в шкафчике, и обе гости принесли по бутылке: Марго – голландский Cherry, а Эмма, москвичка командированная, – поддельный «Наполеон», приобретенный в гастрономе на Смоленской для особо торжественного случая. Он и представился, этот случай, выпала эта безумная командировка, о которой она и мечтать не мечтала.

Теперь Марго с Эммой сидели перед накрытым Верой столом, а сама хозяйка вышла погулять с Шариком, который долго терпеть от старости не мог, а гадить в доме от благородства не смел и потому жестоко страдал от внутреннего конфликта... Сидели молча перед накрытым столом и ждали саму Веру, с которой Марго была очень дружна в американской жизни. Между собой Вера с Эммой были знакомы заочно. Благодаря Маргошиной болтливости многое друг о друге знали, но увиделись в этот вечер первый раз. Со вчерашнего вечера между Марго и Эммой пробежала какая-то давняя кошка, и Эмма старалась вспомнить теперь, почему она от Маргоши в давние московские времена иногда отдалялась, а потом снова к ней возвращалась, как к старому любовнику...

Остановилась Эмма не в гостинице, а у Маргоши, с которой не виделась ровнешенько десять лет. Родились они в одном месяце, жили в одном московском дворе и учились в одном классе, и до тридцати лет расставались разве что на несколько дней, а потом непременно вываливали друг дружке во всех подробностях все свои приключения за истекший период. В один год родившиеся дети сблизили их еще более – уложив детей, встречались на Эмкиной кухне, выкуривали по пачке «Явы», исповедали друг другу привычно все мысли и дела, грехи вольные и невольные, и расходились, очищенные, сытые разговором, в третьем часу ночи, когда спать оставалось меньше пяти часов.

Теперь, после десятилетней разлуки, они вцепились друг в друга и испытали такое счастье взаимопонимания, какое знакомо лишь музыкантам в хорошей джазовой сессии, когда каждый поворот темы наперед чувствуешь специальным органом, всем прочим людям не предоставленным. События жизни все были известны: переписывались хоть и не часто, но регулярно. Однако много оставалось такого, чего в письме не напишешь, что понимается только с голоса, с улыбки, с интонации... Марго три года как развелась со своим алкоголиком, Веником Говеным, как она его называла, и проживала теперь эпоху выхода из тьмы египетской. Пустыня, в которую она теперь попала, предоставляла ей неограниченную свободу, но счастливой она себя не чувствовала, потому что место, которое прежде занимал Веник со своими пустыми бутылками в портфеле, в гардеробе, среди детских игрушек, с грубостью пьяного секса, с воровством семейных денег – детских, квартирных, каких угодно, – это пустое место проросло ужасными ссорами со старшим шестнадцатилетним Гришкой и полным отчуждением десятилетнего Давида... И все это она объясняла Эмке, а Эмка только квакала, качала головой, вздыхала и, практической пользы не принося, так страстно сочувствовала, что Маргоше как будто становилось легче. А потом Эмма хвалила ее за успехи в эмигрантской жизни, за великие подвиги, которые Марго действительно совершила, подтвердив свой диплом и уцепив скромную золотую рыбку в виде должности ассистента в частной онкологической клинике, с хорошей перспективой получить собственную лицензию и так далее... Долго объяснять.

Первые три дня, вернее, вечера, поскольку днем подруги разбегались по своим рабочим делам, были посвящены главным образом разбору полетов Веника Говеного, и Эмма только диву давалась, почему это отсутствие мужа совершенно равно его присутствию. Казалось бы, промучилась столько лет с плохим человеком, к тому же и алкоголиком, боялась развода, как полагается восточной женщине, набралась куража, развелась – и живи себе спокойно. Нет, теперь страдает, зачем так долго страдала... И так же долго, с подробностями, все это излагает... Но настал вечер, когда Марго наконец спросила у Эммы:

– А твои-то дела как? Что там у тебя с твоим героем?

И в голосе почудился искренний интерес.

– Все, – вздохнула Эмма. – Рассталась. Окончательно. Начала новую жизнь.

– Давно? – встрепенулась Марго, которая старую жизнь уже закончила, но новая все никак не начиналась.

– За день до отъезда. Восемнадцатого.

И она подробно рассказала, как встретилась с Гошей последний раз. Как пришла к нему в мастерскую, всю заставленную из железа скрученными людьми, такими трагическими, понимаешь, как будто заблудившимися в материале, – случайно ожили не в теле, а в жестком металле, и страдают от своего ржавого несовершенства...

– Ты меня понимаешь?

– Вроде да. Так и что? Встретились...

– Тупик. Мы попали в тупик, и деваться некуда. Его дебилка жена, беспомощная дура, дочка одна больная, вторая просто психопатка, деваться ему от них некуда, а я только усугубляю все... И от наших отношений всем только хуже. Да и пьет-то он от безвыходности...

Марго смотрела на Эмму своим армяно-азербайджанским взором, и легкий испуг превращался в тихое отвращение, пока не прорвался непристойным вопросом:

– Эм, а ты с ним, с пьяным, спишь?

– Маргоша, да я его трезвым за восемь лет, может, два раза видела. Он трезвым никогда не бывает.

– Бедная, – зажмурила свои преувеличенные очи Марго, – я тебя понимаю...

– Не понимаешь, не понимаешь, – замотала головой Эмма. – Он потрясающий, и не важно, пьяный, трезвый. Он – то, что нужно каждой женщине. Он мужчина до мозга костей. Он просто попал в ужасное положение. И меня туда завел, в это ужасное положение. Он ни в чем передо мной не виноват. Обстоятельства... Но я уже все, решилась. Я выскочу. Я не должна ему мешать, он творческий, он особенный. Совсем не похож на инженерское быдло. У него весь мир другой. Конечно, я никого даже близко на него похожего не встречу, это ясно. Но он у меня был, это кусок моей жизни, целых восемь лет, и этого никто у меня не отнимет. Это – мое.

– А ты почему думаешь, что ты с ним навсегда рассталась? Ты мне три раза уже писала, что ты с ним порвала. И всякий раз – снова. У меня все письма твои хранятся, – невеликодушно напомнила Марго.

– Знаешь, я раньше только о том думала, как ему лучше. А теперь я посмотрела на это с другой стороны – о себе подумала. Теперь – ради моей жизни. Мне сорок исполнилось...

– Это я знаю, и мне, – заметила Марго.

– Так вот, самое время начать новую жизнь. Мы расстались – по моему сценарию, понимаешь? Это я выбрала время и место. И мы провели нашу последнюю ночь... Которую я никогда не забуду. Потому что это выходит за пределы того, что обыкновенно происходит в сексе. Это – за пределом. Перед лицом неба. И эти железные люди, которых он сковал, они как свидетели... Ты себе не представляешь, что это значит – жить с художником...

– Не, не представляю. Венька – программист. Правда, очень хороший. Он совершенно невозвышенный, ты его знаешь. Он эгоист распоследний и, кроме компьютера и водки, ни в

чем не нуждается... Ты, Эмка, всегда была необыкновенная, и любовники у тебя необыкновенные. Венгр какой был! Как его, красавец?

– Иштван.

– Да и муж твой, Санек, какой приличный был... Ты себе еще найдешь и замуж выйдешь... А я... – Марго засунула большие пальцы под лифчик, приподняла свое цветущее, но слегка поникшее хозяйство. – При всем при том... – Она встала, повернулась, покачала боками, чтобы весь чудесный ее кувшин – грудь, тонкую талию, убедительный крутой разворот крупа – подтвердить... – и на хер никому не нужно! За всю жизнь ни с кем, кроме Веника Говеного, не переспала. С восемнадцати лет... Объясни мне, Эммочка, почему так получается: роста у тебя нет, сисек на второй номер не соберешь, ноги, извини, кривые, почему у тебя всегда навалом любовников...

Эмка засмеялась добродушно, нисколько не обидевшись:

– За что, Маргоша, тебя люблю – за искренность. Хотя ответить могу – да я тебе это давно говорила. Армяно-азербайджанский конфликт. Ты его разреши сама в себе – ты женщина восточная или западная? Если восточная – не разводишься с мужем, а если западная – заведи любовника и не делай из этого проблемы...

Марго неожиданно обиделась:

– Да я же всю твою семью знаю, и маму, и бабушку, чем твои еврейки лучше моей армянской мамы? Чем это вы западные?

– Западная женщина себя уважает. Помнишь мою бабушку?

Марго, конечно, помнила. Уж да, важная была старуха Цецилия Соломоновна. Царица. Но ноги, между прочим, тоже кривые были... Может, правда западная?

На этой вздорной ноте Марго собрала со стола посуду, вздохнула, взглянув на часы, потому что, как в московские времена, шел третий час, а вставать было в семь – и разошлись спать по комнатам: Марго в спальню, а Эмма в гостиную, где был новый гостевой диван, купленный после ухода Веника, когда денег в доме стало как после большого выигрыша в лотерее...

Вера вошла – розовая, с молодым морщинистым лицом и плохо выкрашенными волосами. За ней – Шарик, вразвалку, по-старчески, и сел слева от Вериного кресла с лицемерным безразличием к накрытому столу.

«Вот парочка, не скрывающая своего возраста», – подумала Эмма с симпатией.

Вера плюхнулась в плетеное кресло, оно тонко пискнуло. Протянула руку за бутылкой:

– Дата неровная, но я все считаю по месяцам: сегодня семнадцать месяцев, как Мишка умер.

Она разлила, не спрашивая, водку по стопкам, и Эмма отметила, что стопки московские, хрустальные, сталинских времен.

– Царствие небесное, Мишенька! – радостно воскликнула Вера и опрокинула стопку. Потом вздохнула: – Полтора года... Как будто вчера...

Взяла с блюда кусок копченой индейки, бросила собаке:

– Лопай, Шарик, это чистый яд для тебя.

Собака оценила хозяйский жест и, разрываясь между двумя острыми желаниями – немедленно благодарственно лизнуть руку и немедленно же проглотить загорелый кусок божественного вкуса, – заметалась... Сложный был у Шарика характер.

– Нажремся сейчас... – мечтательно произнесла хозяйка. – Давайте, давайте, девочки! С тех пор как Мишки не стало, я, кажется, ни разу не готовила еды... Все в забегах. Марго! Ну, что ли?

И то ли оттого, что действительно проголодались, то ли оттого, что собака страстно стояла над индейской косточкой, набросились на еду, забыв о приличиях, вилках и паузах... Жор

какой-то напал. Даже и не похваливали еду, молча и яростно жевали, подкладывали, подливали, и Шарик под столом оживился – ему тоже подбрасывали. И все было такое вкусное – и рыба красная, и салаты, и пироги, и паштет... И вкус еды неамериканский. О чем Марго и сказала. Вера засмеялась:

– Неамериканский, конечно! Еврейский вкус у этой еды. Этот магазин, «Зейбарс», еврейский. Мы с Мишкой его облюбовали сразу, как приехали. Дорогуший был. Денег тогда не было, мы по сто граммов покупали – форшмак, паштет, и хлеба черного в те времена в Америке еще не было, только у них. Здесь, в Америке, евреев из России называют русскими, зато русские, как я, отчаянно жидают, – засмеялась Вера, обращаясь к Эмме, которая местных условий не знала. – Бедная моя бабка накануне свадьбы умерла, боюсь, от горя, что любимая внучка выходит за еврея... А мамочка все говорила: «И пусть, что еврей, зато хоть один зять непьющий будет!»

И Вера захохотала звонко, и морщины просто в два букета собрались – на одной щеке и на другой, и – удивительное дело! – от них она еще больше помолодела.

– Сильно пил? – спросила Эмма. Вопрос этот ее глубоко занимал.

– Пил, как еще, – сморщилась Марго.

– Ох, да как пил! – Вера повернула свое улыбающееся лицо к большому портрету покойного мужа. Портрет был раздут со старой послевоенной фотографии. Качество неважное. Молодой солдат с косым кудрявым чубом из-под пилотки с папироской в углу рта. – Хорош, да? Всем был хорош. И пил хорошо. От цирроза печени он умер, Эмочка.

Марго положила свою большеволосую голову на мраморную, с прожилками руку. Она была богиня, натуральная богиня, с римским носом, из лба растущим, нечеловеческого размера глазами и большими губами, наподобие лука изогнутыми:

– Верочка, Миша твой, конечно, был человек прекрасный, обаятельный и вообще – личность выдающаяся. Но ведь ты же мучилась как с ним из-за пьянства этого. Я-то знаю! Чего же хорошего в питье может быть? Ведь потеря человеческого образа! Нет разве?

А Вера отставила пустую бутылку водки, незаметно как-то она пролетела, достала вторую, и все с той же улыбкой:

– Глупости какие! Пьянство освобождает... Когда человек хороший, он пьяным только лучше делается, а если говно, то говнеет. Поверь моему слову, уж я-то знаю! Погоди-ка! Чего-то мне не хватает! – И Вера вскочила, покопалась на какой-то полке, достала кассету, включила. Голос вкрадчивый и убедительный пропел-проговорил: «Самогона взял ноль восемь, косхалвы, пару рижского и керченскую сельдь...» – Мишка любил его... Событыльники были, друзья...

Но никто бедной гитары этой не слушал, и голос из прошлого висел в воздухе, а говорили о своем. И пили: Вера – водку, Эмма – фальшивый коньяк, а Марго – всего понемногу, мешая.

И, странное дело, постепенно менялись, все в разные стороны: Вера веселела, шла на подъем, Марго мрачнела, сердилась и как будто раздражалась, что это Верка так радуется, а Эмма смотрела на них, и ей казалось, что сейчас узнает она что-то важное, что поможет начать новую жизнь. И слушала во все уши, больше помалкивая. Тем более что алкоголь ее сегодня не очень брал.

– А, что ни говори! – Вера сделала рукой русский размашистый жест, как будто собиралась «барыню» танцевать. – В России все самые талантливые, все самые лучшие люди испокон веку – пьяницы! Петр Первый! Пушкин! Достоевский! Мусоргский! Андрей Платонов! Венечка Ерофеев! Гагарин! Мишка мой!

Марго выпучилась:

– Да Мишка-то твой при чем, Вера? Ну пусть Гагарин, черт с ним! Но Мишка, Мишка-то? Вера вдруг сникла, посерьезнела, сказала тихо:

– Так он и был из лучших людей в России... Честный...

Но Маргошу несло, не остановишь:

– А Петр Первый при чем? Сумасшедший был! Сифилитик! Ладно, хоть император! Но Мишка твой вообще еврей! И чем он честный? Чем? Сколько ты из-за него говна скушала? Честный!

Марго теперь уже обращалась не к Верке, а к Эмке:

– Честный он! Слышать не могу! Сколько она абортот от него сделала, от честного! Сколько баб он успевал оприходовать, пока ты по абортариям корячилась! Да среди подруг ни одной не было, чтоб он не потыкал. Тьфу!

– Ну к тебе-то не приставал? – фыркнула Вера.

– Да почему ж не приставал? Ко всем приставал, а ко мне нет? Только ему у меня не обломилось! – гордо отрезала Марго.

– Ну и дура! Переспала бы с Мишкой, может, и с Веником получше бы пошло!

– Перестань. Мой Веник Говенный, но и твой Мишка тоже недалеко ушел. Старый бабник!

Шарик встал с трудом, подошел к Марго, вяло гавкнул. Верка захохотала:

– Девочки! Маргоша! Эммочка! При Шарике Мишку ругать нельзя. Загрызет!

Шарик понял, что его похвалили, подошел к хозяйке, раскрыл черную на малиновой подкладке пасть, ожидая награды. Вера кинула кусок французского сыра.

Марго, угасив ярость крови, выпила рюмку коньяку:

– Мне, Вер, обидно, он что хотел делал, изменял направо-налево, а ты его любила, все прощала. Я бы его убила! Если у меня муж, я его люблю, а он мне изменит, я его зарезу к чертям собачьим!

Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке, в одна тысяча девятьсот девяностом году происходит глупейший этот разговор, бабий, кухонный, того и гляди до драки дойдет, изумлялась Эмма, разглядывая старую свою подружку, которая почти не изменилась. Кем Марго была, тем и осталась – армянкой с азербайджанской фамилией, из-за которой армянская родня всю жизнь на нее косо смотрела. А отец, Гуссейнов Зарик, разбился в горах, когда Марго было всего шесть месяцев... Никуда не денешься, паспорт американский, а мозги все равно кавказские: всех накормит, все раздаст, а не поздравь ее с днем рождения, такой скандал поднимет, что до следующего года не забудешь... За-ре-жу!

– Марго, ты ничего не понимаешь! Дело только в тебе самой! Ты просто не умеешь любить! А когда любишь, то все прощаешь... Все-все...

– Но не до такой же степени! – взвизгнула Марго, встряхнула симметричными кудрями. – Не до такой!

Вера налила водки в стакан для воды, неполный, половину. В задумчивости держала его, смотрела на портрет наискосок от нее, и вроде как на нее обращен взгляд молодого Мишки, с послевоенным чубом, – таким она его не знала, позже познакомилась – от послевоенной, второй жены увела для своего, как казалось, единоличного употребления. И ошиблась, ой как ошиблась! Он и к военной жене Зинке бегал, о чем она знала, и к послевоенной, Шурочке, и еще к одной... Она смотрела светлым взглядом на портрет, на Марго...

– Дурочка ты. Послушай. Я Мишку любила всеми своими силами, и телом и душой. И он меня любил. Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга. Трезвыми любили и пьяными. И особенно – пьяными. Он был великий любовник. Он мне не изменял, он просто спал с другими бабами. И я его совершенно не ревновала. Ну, почти не ревновала, – поправила она. – Только в молодые годы, пока не понимала... У него был талант любить. А когда этот цирроз на него накинудся, тут уж мы любили друг друга совсем без памяти, потому что времени почти не оставалось... Мы знали оба... Девчонка у него завелась в больнице, медсестра, влюбилась в него напоследок. А, да я все знаю, он и не скрывал. Переспал с ней. Потом говорит: «Нет, больше не хочу никого. Времени мало, выписывай меня, дома буду умирать. С тобой». И тра-

хались – до слез. Он все говорил: «Какой я счастливый – с семнадцати лет на фронте, с сорок третьего года, – и выжил. Провоевал всю войну – никого не убил. В ремчасти был, танки ремонтировал... Бабы всегда любили. Сел в сорок девятом – из института взяли, – вышел живой. И опять бабы любили. И ты, радость моя... – так говорил, – радость моя! И ты, радость моя, меня полюбила. Молодая, девчоночка совсем, вцепилась в старого козла, своего не упустила, умница... Дай, – говорит, – быстренько створочки потрогать... а коленочки какие, а плечики какие, не знаю, за что вперед хвататься...» За два дня до смерти говорил... А мне-то уже за полтинник перевалило! Какие плечики, какие коленочки, ничего такого уж нет... Дура, дура ты, Марго, все ты проворонила, ничего не видела... Любить ты не умеешь, вот что, вот она, беда твоя. И Веник твой ни при чем! Ему не повезло, твоему Венику. Может, другая баба его полюбила бы и любить научила... Да что ты за баба, ботва одна...

Марго заплакала, сраженная пьяной правдой. Может... да? В ней дело было? Может, Веник и не пил бы, если б она его так любила, как Верка своего Мишку? Может, пил бы, но ее, Марго, страшно любил... И не было бы этого стыда и срама пьяных соитий, когда лежишь, исполненная ненависти, а на тебе девяносто килограмм дергаются, по-сухому бьют, как на кол насаживают, и грудь в синяках, как после побоев, бурые следы потом год проходили. И вонь перегарная, и запах низа, от которого тошнота подкатывает, и качает, как в трюме, и только бы до сортира добежать, чтобы выблевать все в его сияющее белое нутро... Что? Мало? Еще тебе? Убери свой дрын ненасытный! Куда? Еще чего?

И Эмка тоже заплакала: что же она наделала? Гошенька! Я люблю тебя, как никого не любила! Как никто никого никогда... Нет, нет, не хочу никакой новой жизни. Пусть будет эта, с вечно пьяным Гошей, с ежедневным отчаянием, с тревогой, с ночными поездками туда-сюда, «скорой помощью», со спасительной утренней четвертинкой, с горячим пирогом, в газеты укутанным. И с презрительным взглядом дочки: опять понеслась? И все – без надежды на какую-то нормальную жизнь, все – без отдачи, то есть без признания, без благодарности, безо всякого расчета, просто отдаешь – и все!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.